

Мас. 26924

Так-таки съ некоторыхъ поръ стали

О КРИТИКАХЪ И О МУЖИКАХЪ.

Прочиталъ я «Мужиковъ» Антона Чехова, и еще разъ прочиталъ, а потомъ нѣтъ, да и опять прочиталъ... И не идутъ у меня изъ головы эти мужики.

Какое счастье, что я не критикъ! Счастье для меня, конечно. Критикъ не можетъ наслаждаться прекраснымъ, а я могу. У критика за плечами всегда лежитъ какая-нибудь теорія и вслѣдствіе этого, во время всѣхъ своихъ критическихъ экскурсій, онъ носитъ ее съ собою, какъ кавказецъ носитъ съ собою шашку — а тутъ что — сейчасъ за рукоятку. И ужъ съ точки зрѣнія критика прекрасно только то, что подходитъ подъ эту теорію.

Помню я, вышедшей зимой судьба свела меня съ однимъ критикомъ въ «Акваріумъ» во время представленій Сальвини младшаго. Я съ наслажденіемъ смотрѣлъ и слушалъ этого оригинальнаго артиста. Я видѣлъ передъ собою живого человѣка — волнующагося, страдающаго. Я переживалъ художественный восторгъ. Это чувство раздѣляла со мной публика. Въ театрѣ было движеніе, говоръ, шумъ. У всѣхъ горѣли глаза, тоже и у меня, когда я вышелъ въ антрактъ въ буфетъ. И тутъ-то я встрѣтилъ критика, но у него глаза не горѣли. Онъ смотрѣлъ равнодушно. Въ лицѣ — недовольство и угнетеніе. Я началъ восторгаться. Онъ покачалъ головой. — Да, хорошо... Пожалуй, талантливо... горячо... искренно, если хотѣть, но... Но я не вижу принципа... Принципа тутъ нѣтъ. — Да зачѣмъ вамъ принципъ, когда онъ даетъ человѣка, настоящаго человѣка въ полную величину? — Это такъ, но для этой роли существуютъ традиціи, которыхъ игнорировать нельзя... Вы видѣли Россія? Вы видѣли Сальвини-отца? Вы видѣли, на-

турки оставившись и возобновивъ сирѣчь, но такъ какъ она была рѣдная и слабая, то

конецъ, Барная? и пр. Мы съ нимъ сдѣшались. Вокругъ насъ собралась публика. Она видимо была на моей сторонѣ. Среди нея не было ни одного критика.

Черезъ недѣлю я смотрѣлъ въ той же роли Барная. Мой критикъ былъ тутъ же. Ни одного слова отъ души, ни одного искренняго жеста. Я скучалъ, а критикъ мой спалъ.

— Вотъ это Гамлетъ! Вотъ это принцъ!

— Но вѣдь это заучено, деревянно, бездушно!

— О, что вы хотите! Вѣдь онъ старъ, у него не можетъ быть уже того огня, той свѣжести чувства! Но зато передъ нами — образъ принца, который и радуется, и страдаетъ, какъ истинный принцъ!

И онъ наслаждался не потому, что это прекрасно, художественно, талантливо, а лишь потому, что это подходитъ подъ его теорію. Да и наслаждался ли онъ въ самомъ дѣлѣ? Я думаю, что нѣтъ. Я думаю, что и наслаждение этого рода тоже входитъ въ его теорію, а ужъ какое же это наслажденіе?..

Несчастные люди — критики! Область искусства, попонимому, имъ близкая болѣе, чѣмъ кому бы то ни было, въ сущности имъ недоступна. И это не потому, чтобы они были неумны, не свѣдущи и слѣпы. Напротивъ, люди они умные, образованные и зрячіе. Но между ними и искусствомъ стоитъ какое-нибудь «заранѣе обдуманное наизобрѣненіе». Когда они входятъ на картинную выставку или въ театръ, когда они берутъ книгу журнала, они уже заранѣе знаютъ, что имъ понравится, что нѣтъ; кого они превознесутъ, кого унижатъ. «Все должно быть вотъ такъ-то, такъ-то и такъ-то», но все оказывается какъ разъ не такъ. Многое прекрасно, но не такъ. Теорія начинается безпокойно шевелиться за пазухой, теорія оскорблена и для критика отравлено удовольствіе. Потомъ онъ и простому зрителю отравитъ удовольствіе. Зритель сидѣлъ въ театрѣ и ему казалось, что актеръ играетъ прекрасно; онъ ходилъ по выставкѣ и оставался передъ картинами, которыя ему

подготовительная художественная школа волею исполненной. Никакой преступной

правились; онъ читалъ повесть и не могъ оторваться до послѣдней точки. Но вдругъ раскрывается газету или журналъ и тутъ критикъ начинаетъ увѣрять его, что игра актера никуда не годится, картина ничего не стоитъ, повесть плоха, и все это ва такихъ-то и такихъ-то теоретическихъ основанiяхъ. Безъ сомнѣнiя, художественное наслажденiе, какое испыталъ зритель, уже—фактъ, его вернуть нельзя. Но все же въ душу слабохарактернаго читателя вливается отравы: а, можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ это плохо... Ну, это все равно, какъ если бы къ вамъ пришелъ бѣдный, жалкiй, несчастный человѣкъ и вы, охваченный хорошимъ чувствомъ человѣчности, щедрой рукой помогли ему. Человѣкъ ушелъ, и у васъ осталось прiятное сознанiе исполненнаго долга. Но является знакомый, узнаетъ объ этомъ и начинаетъ пилить васъ: «Какъ, вы ему помогли? Да знаете ли вы, что это—негодяй; онъ сейчасъ пойдетъ въ трактиръ и пропьетъ ваши деньги! Да знаете ли вы, что онъ бьетъ свою жену» и пр. и пр. И вы, волей-неволей, начинаете испытывать такое чувство, какъ будто совершили какую-нибудь гнусность: помогли этому жалкому человѣку напиться и побить свою жену...

Но это критики добросовѣстные. То, что они говорятъ,—ихъ мнѣнiе. Они сами рабы своей теорiи. Но человѣку, работающему въ области искусства, а потому являющемуся общественнымъ достоянiемъ, приходится быть мишенью для стрѣлъ всевозможнаго рода охотниковъ, нерѣдко и такихъ, стрѣлы которыхъ смазаны ядомъ самаго низернаго пристрастiя, основаннаго подчасъ на томъ, что вы кому-то наступили на мозоль. Это очень просто дѣлается, потому что при сильномъ развитiи журналистики критикомъ сталъ или можетъ стать всякiй, кто умѣетъ связать между собою пару словъ. Въ прежнее время подъ критикомъ разумѣлось существо, вооруженное талантомъ и знанiемъ. Это было непремѣнное условiе. Въ наше время для этого ампулы достаточно одной... Ну, какъ бы это повлия-

лило сказать?.. Нестѣсняемости. Пишутъ критическiя статьи люди, не только ничего не понимающiе въ искусствѣ, но и въ синтаксисомъ плохо знакомые. Ихъ мнѣнiями и отзывами руководить до такой степени постороннiя соображенiя, что ихъ даже нѣтъ возможности скрыть: они сами себя выдаютъ. Артистъ отказалъ въ даровыхъ билетахъ на свой спектакль, художникъ отказался подарить картинку или написать портретъ для выставки, писатель не прислалъ экземпляра своей книги съ надписью: «глубоко чтимому, высокоталантливому, несравненному»... и пр. И вотъ ужъ «отношенiя испорчены». Артистъ, двадцать лѣтъ привлекавшiй публику въ театръ, объявляется «устарѣвшимъ», у художника, картины котораго всегда играли роль «гвоздей» на выставкѣ, неизвестно куда исчезъ колоритъ, писатель сталъ водянистъ и скученъ.

Великое благо дано работникамъ искусства—не обращать вниманiя на отзывы этого рода «критики». Я знаю одного писателя, наиболѣе ругаемаго, который не только самъ не читаетъ «критикъ», но и прiятелей убѣдительно проситъ не сообщать ему, «ибо, говоритъ онъ,—подобнаго рода литература дѣйствуетъ не на умъ, а непосредственно на печень».

Работа художника дѣлится не по существу, а какъ-то на вѣсъ или на аршинъ.

— Читали вы такую-то повесть Мамнина-Сибиряка?

— Ахъ, что вапгъ Мамнинъ! Помпшуйте, онъ пишетъ слишкомъ много...

— Читали вы рассказъ Чехова?..

— Ахъ, что вапгъ Чеховъ! Онъ пишетъ слишкомъ мало!

«Много и мало»,—вотъ критическое мѣрило, на основанiи котораго ставятся отнѣтки писателямъ. Притомъ даже не задаются вопросомъ о томъ, что пишетъ авторъ и какъ пишетъ; это прививается и публикѣ и становится общимъ прiемомъ. Гимназистъ съ величайшимъ аллобмомъ повторяетъ: «такой-то пишетъ слишкомъ много, а такой-то слишкомъ мало». Надобы учредить комисiю изъ критиковъ, чтобы

3
ской партин, глава которых подалъ про-

размѣрахъ необходимой денежной помощи.]

она установила норму для писателя, чтобы онъ зналъ, сколько надо писать ему, чтобы это было ни много ни мало, а сколько слѣдуетъ. То же самое и съ холстами: одного критика давить слишкомъ большой холстъ, другой, по близорукости, ничего не видитъ на маленькомъ. Норму, норму! Современемъ будутъ продаваться нормальные холсты: ни больше, ни меньше—ни на одинъ дюймъ. Современемъ будетъ опредѣленъ вѣсъ для нормальнаго романа, для нормальной повѣсти, для нормальнаго разсказа.

Я заговорилъ о критикахъ по поводу «Мужиковъ» Ант. Чехова, потому что мнѣ уже приходилось слышать сужденія съ точки зрѣнія лежащихъ за пазухой теорій. Я читалъ «Мужиковъ» безъ всякой теоріи и они мнѣ доставили такое высокое художественное наслажденіе, какого я давно не испытывалъ. Я не ошибусь, если скажу, что этотъ маленький очеркъ (всего 28 страницъ)—лучшее изъ всего, что появилось за послѣдніе годы въ нашей литературѣ.

Я вижу, какъ на меня уже готовы обрушиться:—Какъ? А Толстой? А «Хозяинъ и работникъ»?

Да, да, «Хозяинъ и Работникъ». Я очень хорошо знаю, что Толстой—великій художникъ и что «Хозяинъ и Работникъ»—прекрасная вещь. И все-таки я говорю, что «Мужики» — лучшее изъ всего, что появилось за послѣдніе годы въ нашей литературѣ... Я позволю себѣ прибавить только одно слово: въ нашей художественной литературѣ.

И опять громы и молніи. Я чувствую, что этой страшной прибавкой я даже повредилъ себѣ.—Какъ—художественной? Такъ вы хотите сказать, что «Хозяинъ и Работникъ» не художественное произведеніе?

Нѣтъ, нѣтъ, я этого не хочу сказать. Избави меня Богъ! Но позвольте, дайте мнѣ собраться съ силами. Вѣдь я не критикъ, у котораго на все готовы несокрушимые доводы, я—простой читатель. Я сейчасъ объяснюсь.

Я читалъ «Хозяинъ и Работникъ» съ наслажденіемъ, даже съ захватомъ. Я и «Му-

жиковъ» читалъ съ наслажденіемъ, пожалуй, скажу — не съ такимъ захватомъ. Но когда я читалъ «Мужиковъ», я испытывалъ чистое художественное наслажденіе. Передо мной тонкой кистью рисовались картины. Правда жизни рельефно выступала передо мной въ яркихъ художественныхъ образахъ—отъ начала до конца. И затѣмъ художникъ, кончивъ свое дѣло, отпустилъ меня съ миромъ. Онъ мнѣ сказалъ: вотъ тебѣ жизнь. Я ее наблюдалъ и представилъ передъ тобой такую, какова она есть. А ты думай о ней какъ хочешь, дѣлай выводы, какіе знаешь, и сообразуйся съ ними, какъ тебѣ угодно! Словомъ, я испытывалъ чувство, которое я не могу назвать иначе, какъ чувствомъ художественной свободы.

Когда я читалъ «Хозяинъ и работникъ», я тоже испытывалъ художественное наслажденіе, но въ немъ было что-то тревожное. Мнѣ все казалось, что я въ чемъ-то виноватъ, что это къ чему-то меня обязываетъ. Ощущеніе это все усиливалось и дошло до того, что мнѣ начало казаться, будто какая-то сильная, страшно сильная рука схватила меня за плечи и пригибаетъ къ землѣ и кто-то властнымъ голосомъ говоритъ мнѣ: падай ницъ и вѣруй именно такъ, какъ я вѣрую. Я рисую передъ тобой картины жизни, но я вмѣстѣ съ тѣмъ и даю имъ такое, а не иное объясненіе. И ты долженъ такъ точно понимать жизнь, какъ я понимаю, иначе ты погибнешь, погибнешь, погибнешь!

Это я испытываю всегда, когда читаю произведенія Толстого послѣдняго десятилѣтія. Если бы это говорилъ какой-нибудь обыкновенный писатель, съ нимъ легко было бы сладить. Ему я отвѣтилъ бы: разсказывай! Очень мнѣ нужно объяснять жизнь непременно по-твоему! Я и самъ по-своему сумѣю объяснить ее. Но это—Толстой, это силаща, противъ которой спорить страшно.

Въ художественное творчество Толстого вошелъ проповѣдникъ и въ то время, какъ художникъ рисуетъ картины, проповѣдникъ требуетъ, чтобы ихъ понимали такъ-то;

4
ля въ имѣніе княгини Мещерской. Затѣмъ бакъ выставлено довольно много, въ осо-

это не уменьшаетъ художественнаго значенія картинъ, но это вносить новый элементъ въ впечатлѣніе отъ нихъ. Вы чувствуете себя несвободнымъ, вамъ что-то повелѣваютъ; отъ васъ требуютъ, чтобы вы и сами сейчасъ же стали думать иначе, перемѣняли жизнь, свели счеты съ прошлымъ и пр. Отъ этого наслажденіе при чтеніи такого произведенія подчасъ становится мучительнымъ и совершенно выходить изъ предѣловъ художественнаго.

«Мужики» Чехова безотрадны. Это — страшная картина деревенской бѣдности, темноты, беспомощности, но это только картина. Авторъ не предлагаетъ вамъ никакого обязательнаго вывода. Вы сдѣлайте его сами, сообразно вашему міросозерпанію и настроенію. Вы свободны; единственная сила, которая васъ охватываетъ при чтеніи этой повѣсти, это — сила художественнаго изображенія.

Съ необыкновенной простотой и пранидностью рассказывается, какъ бывший полковой въ «Славянскомъ базарѣ» заболѣлъ и поѣхалъ умирать въ родное село. Половой пріѣхалъ и умеръ, а жена его и дочь вернулись въ Москву. Это вся тема. Но рассказывая это на 28 страницахъ, авторъ такъ живо, съ такой художественной правдивостью рисуетъ безотрадную жизнь русскаго села, какъ не нарисуютъ ее сотни толстыхъ книгъ, наполненныхъ цифрами, фактами и теоретическими обоснованіями. Но гдѣ же выводъ? Гдѣ же выводъ? говорить критики. Господа, потрудитесь же сами сдѣлать выводъ, вѣдь вамъ больше и дѣлать-то нечего. Вы хотите, чтобы художникъ, нарисовавъ картину, подклеилъ подъ ней еще бумагу, на которой большими буквами начерталъ бы: «на сей картинѣ изображено то-то и то-то, а понимать сіе надлежитъ такъ-то». Не спорю, для многихъ картинъ это необходимо, для тѣхъ, на которыхъ плохъ рисунокъ и краски слѣваются. Но у Чехова удивительный рисунокъ, а краски его свѣжи и такъ хорошо подобраны, какъ это умѣетъ дѣлать только большой художникъ.

Не мѣшаетъ прочитать «Мужиковъ» передъ лѣтними сборами въ деревню. Если вы устали и хотите только отдохнуть, вы, по прочтеніи этой повѣсти, изберете другой маршрутъ. Отдыхать въ деревнѣ можетъ только человѣкъ, у котораго на мѣстѣ сердца кусокъ гранита. Отдыхать среди людей, утопающихъ въ нищетѣ, гибнущихъ отъ непроходимаго невѣжества, — для этого нужно имѣть нервы, сотканныя изъ струнъ контрабаса. Но если вы, кромѣ отдыха, хотите еще внести туда, въ эту страшную темень, искру свѣта Божьяго, то поѣзжайте, поѣзжайте скорѣй; тамъ ждутъ васъ, тамъ ждутъ каждаго, у кого есть доброе желаніе помочь.

Старая сказка — о простотѣ деревенскихъ отношеній... Простота эта ужасна, это — звѣриная простота, отъ нея можно съ ума сойти. Другая старая сказка о томъ, что «интеллигенту» надо бѣжать въ деревню, чтобы научиться тамъ истинной житейской мудрости, истинно мудрому пониманію глубокаго смысла жизни... Сколько горячаго краснорѣчія потрачено на эти приглашенія!

Передо мной сейчасъ лежитъ брошюра, въ которой рассказывается исторія опростившагося «интеллигента». Рассказывается эта исторія съ жаромъ, съ пафосомъ, съ очевиднымъ намѣреніемъ вызвать удивленіе и подражаніе. Удивленіе вызывается, но подражаніе едва ли. «Интеллигентъ» опростился до того, что живетъ въ пещерѣ, ходитъ въ длинной рубашкѣ, не стрижется, не стрижетъ ногтей, купается въ рѣкѣ вмѣстѣ съ женой и дѣтьми и туго же приглашаетъ раздѣваться и купаться пріѣхавшихъ къ нему гостей... Я не хочу даже называть эту брошюру, до такой степени она глупа. Но это только смѣшно. А вѣдь насъ серьезно соблазняли деревенской простотой и усиленно звали туда «учиться жизни»...

Прочитайте «Мужиковъ» Ан. Чехова и вы въ миллионный разъ убѣдитесь, что въ деревню идти надо, но не затѣмъ, чтобы учиться, а чтобы учить...

Фангаль.

< И. Н. Поталенко >